

С. Аксаков

**Очерки и незавершенные
произведения**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
С11

С11 **С. Аксаков**
Очерки и незавершенные произведения / С. Аксаков – М.: Книга по Требованию, 2021. – 54 с.

ISBN 978-5-4241-3235-3

В истории русской литературы имя Сергея Тимофеевича Аксакова занимает видное место.

Выдающийся мастер реалистической прозы, писатель, он в совершенстве владел тонким и сложным искусством изображения природы, был изумительным знатоком всех сокровенных богатств русского народного слова.

В настоящий том вошли очерки и незавершенные произведения, такие как «Буря», «Наташа», «Очерк зимнего дня» и др.

ISBN 978-5-4241-3235-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© С. Аксаков, 2021

БУРАН

ВСТУПЛЕНИЕ

Я не напечатал бы нижеследующего отрывка, то есть описания оренбургского бурана, если б почтенный критик «Русской беседы» не упомянул о нем в разборе «Семейной хроники и Воспоминаний».¹

Он даже сделал из этой моей статьи несколько выписок и, основываясь на них, произнес свой приговор. Хотя вообще г. рецензент был слишком благосклонен к моим сочинениям, и по чувству благодарности мне не следовало бы возражать, но в некоторых частностях его рецензии я не могу с ним согласиться. Не могу согласиться, будто Степан Михайлович Багров (в описании его «Доброго дня») «заслоняется несколько описанием природы»; будто читатель «более видит перед собой «Добрый день» Оренбургской губернии, чем «Добрый день» Степана Михайловича, который оттого становится как будто на второй план». Я не говорю о достоинстве этих описаний: всякий судит об этом по своему впечатлению; но мне кажется, что старик Багров настолько окружен описанием природы, как атмосферы, в которой он жил, насколько это необходимо для полноты изображения. Не могу также согласиться, что я «напрасно поспешил на рассказы о действиях Куролесова» и что я «касаюсь его поступков только более общими его описаниями». Хороши эти описания или нет, это другой вопрос; но я остаюсь убежденным, что частностей о Куролесове рассказано довольно и что если б их было более, то художественность впечатлений была бы нарушена. Особенно я не согласен, будто происшествие, рассказанное мною в «Буране», неестественно и будто в нем виден произвол сочинителя. Вот что говорит почтенный рецензент: «Мы не говорим уже о неестественности языка, которым беседует здесь старик: «Составим возы и распряженных лошадей вместе, кружком» и проч. Чувствуете ли вы всю условную ненатуральность эпохи тридцатых годов в самом рассказе — расчет на внешние эффекты и отсутствие внутренней необходимости в ходе действия? Старик дает совет; некоторые его слушают и спасаются; непослушные погибают. И надобно же непременно для большей разительности, чтобы один оказался около самого умета, прислонившимся к забору! Нужен же непременно неожиданный наезд нового обоза на то самое место, где лежал зарытый в снегу старик с своими, чтобы от занесенных снегом саней остались видными оглобли, чтобы старик и прочие были живы!»²

Как пахнет все это обычно во время оно, отвне навязываемую моралью!» и пр. и пр. На все это я скажу, что происшествие, мною рассказанное, — действительный факт, случившийся неподалеку от моей деревни, слышанный мною со всеми подробностями от самих действовавших в нем лиц. Для того, чтоб читатели могли судить, прав ли я, или нет, не соглашаясь с моим почтенным рецензентом и не находя в своей пиесе ни «неестественности», ни «морали», ни авторского произвола, я считаю за лучшее перепечатать всю эту небольшую пиесу, вероятно теперь никому не известную. К тому же, может быть, некоторым из моих читателей будет интересно узнать, как писал один и тот же человек за двадцать три года до появления в свет «Семейной хроники» и «Воспоминаний», принятых так благосклонно читающей публикой? — как писал он в то время, когда, кроме каких-нибудь мелких статей, вынужденных, так сказать, обстоятель-

ствами, он ничего не писал. Но, не соглашаясь в одном, я совершенно согласен и искренно благодарен уважаемому мною рецензенту за его замечания о «втором периоде гимназии и об университете», составляющих значительную часть моих отроческих воспоминаний. Они точно слабы, не полны и не выдержаны «по отношению к идее всей книги и к самим себе». Я сам это чувствовал, когда писал их. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь поправить мою ошибку. Эта часть воспоминаний требует более подробной и более последовательной, живой разработки.

Отрывок «Буран» в свое время обратил на себя внимание по особенному, довольно забавному обстоятельству, которое я считаю не лишним рассказать. В 1834 году М. А. Максимович, издавая альманах под названием «Денница», так убедительно просил меня написать *что-нибудь* для сборника, что я не мог отказать ему. В это время я был очень занят преобразованием Константиновского межевого училища в Константиновский межевой институт, для которого мне, как будущему директору, поручено было написать устав в более широких размерах и более современных формах. Я поистине не имел свободного досуга, но обещание Максимовичу надо было исполнить. Хотя прошло уже шесть лет, как я оставил Оренбургский край, но картины летней и зимней природы его были свежи в моей памяти. Я вспомнил страшные зимние метели, от которых и сам бывал в опасности и даже один раз ночевал в стог сена; вспомнил слышанный мною рассказ о пострадавшем обозе — и написал «Буран». Я находился тогда (как и всегда) в враждебных литературных отношениях с издателем «Московского телеграфа», а издатель «Денницы» был с ним коротко знаком, участвовал прежде в его журнале и потому мог надеяться, что его альманах будет встречен в «Телеграфе» благосклонно. Благосклонный отзыв «Телеграфа» имел тогда важное значение в читающей публике и был очень нужен для успешного расхода книги. Я очень хорошо знал, что помещение моей статьи возбудит гнев г. Полевого и повредит «Деннице». Брань издателя «Телеграфа» для меня была не новость: я давно уже был к ней совершенно равнодушен; но, не желая вредить успеху «Денницы», я дал мою статейку с условием — не подписывать своего имени, с условием, чтобы никто, кроме г. Максимовича, не знал, что «Буран» написан мною. Условие было соблюдено в точности. Когда «Денница» вышла в свет, «Московский телеграф» расхвалил ее и особенно мою статейку. Рецензент «Телеграфа» сказал, что это «мастерское изображение зимней выюги в степях Оренбургских» и что, «если это отрывок из романа или повести, то он поздравляет публику с художественным произведением». Не ручаюсь за буквальную точность приводимых мною слов, но именно в таком смысле и в таких выражениях был напечатан отзыв «Телеграфа». Какова же была досада г-на Полевого, когда он узнал имя сочинителя статьи! Он едва не поссорился за это с издателем «Денницы». Я помню, что один из общих наших знакомых, большой охотник дразнить людей, преследовал г. Полевого похвалами за его благородное беспристрастие к своему известному врагу. Положение вышло затруднительное: издателю «Московского телеграфа» нельзя было признаться, что он не знал имени сочинителя, нельзя и отступить от своих слов, и г. Полевой должен был молча глотать эти позолоченные пилюли, то есть слушать похвалы своему благородному беспристрастию.

Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра на снежных

равнинах. Красное, но неясное солнце своротило с невысокого полдня к недалекому закату. Жестокий крещенский мороз сковал природу, сжимал, палил, жег все живое. Но человек улаживается с яростью стихий; русский мужик не боится мороза.

Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, проселочной неторной дорожке, или, лучше сказать, — следу, будто недавно проложенному по необозримым снежным пустыням. Пронзительно, противно для непривычного уха скрипели, визжали полозья. Одетые в дубленые полушубки, тулупы и серые суконные зипуны, нахлобученные башкирскими глухими малахаями, весело бежали мужики за своими возами. Запущенные инеем, обмерзшие ледяными сосульками, едва разевая рты, из которых белый дым вылетал, как из пушки при выстреле, и не скоро расходился, — они шутили, припрыгивали, боролись, толкали, будто невзначай, друг друга с узенькой тропинки в глубокий сугроб; столкнутый долго барахтался и не скоро вылезал из мягкого снегового пуха на твердую дорогу. Тут-то сыпались русские остроты по природе русского человека, всегда одетые в фигуру иронии. «Не больно болтай, — говорил один другому, — язык обожжешь: вишь зной какой, так и палит!» — «Шути, шути, — отвечал другой, — самого-то цыганский пот прошибает!» Все хохотали. Так греются на морозе дух и тело русского мужичка.

Подвигаясь скорым шагом, а под изволок и рысью, обоз поднялся на возвышение и въехал в березовую рошу — единственный лесок на большом степном пространстве. Чудное, печальное зрелище представляла бедная роша! Как будто ураган или громовые удары тешили над нею долгое время: так все было исковеркано. Молодые деревья, согнутые в разнообразные дуги, увязили гибкие вершины свои в сугробах и как будто силились вытащить их. Деревья постарее, пополам изломанные, торчали высокими пнями, а иные, раздранные надвое, лежали, развалясь на обе стороны. «Что за чертовщина! — сказал молодой мужик, — какой леший исковеркал березник?» — «Не леший, а иней, — отвечал старик, — глядь-ка, сколько его нальнуло к сучьям... тяга смертная! Ведь под инеем-то лед, толщиной в руку, и все к одной стороне, все к полуночи. Это бывает после оттепелей, случается не каждый год и вешует урожай: хлеба будет вволю». — «Да куда с ним деваться?..» — подхватил молодой крестьянин и хотел продолжать, но старик, с некоторого времени внимательно озиравшийся на все стороны, с прищуренным глазом припадавший к дороге, сурово крикнул: «Полно калякать, ребята. До умета³ далеко, ночь близка, дело негоже. Бери вожжи, садись погоняй лошадей!..» Безмолвно повиновались строгому голосу старика, умудренного годами опытов, пронизательный взор которого провидел в ясности тьму, в тишине бурю. Все струсили, хотя ничего страшного не видали. Проворно повскакали на воза, крикнули, тронули вожжами мочальные оброты невзвзданных лошадей, и обоз, выбравшись из роши на покатую равнину, побежал шибкою рысью.

Все по-прежнему казалось ясно на небе и тихо на земле. Солнце склонялось к западу и, косыми лучами скользя по необозримым громадам снегов, одевало их бриллиантовой корою, а изуродованная налипнувшим инеем роша, в снеговом и ледяном своем уборе, представляла издали чудные и разнообразные обелиски, осыпанные также алмазным блеском. Все было великолепно... Но стаи тетеревов вылетали с шумом из любимой роши искать себе ночлега на высоких и открытых

местах; но лошади храпели, фыркали, ржали и как будто о чем-то переключались между собою; но беловатое облако, как голова огромного зверя, выплывало на восточном горизонте неба; но едва заметный, хотя и резкий, ветерок потянул с востока к западу — и, наклонясь к земле, можно было заметить, как все необозримое пространство снеговых полей бежало легкими струйками, текло, шипело каким-то змеиным шипеньем, тихим, но страшным! Знакомые с бедою обозы знали роковые приметы, торопились доезжать до деревень или уметов, сворачивали в сторону в ближнюю деревню с прямой дороги, если ночлег был далеко, и не решались на новый переезд даже немногих верст. Но горе неопытным, запоздавшим в таких безлюдных и пустых местах, где нередко, проезжая целые десятки верст, не встретишь жилья человеческого!

В таком именно положении находился незадолго перед сим веселый обоз, состоявший из осмнадцати подвод и десятерых возчиков. Они ехали с хлебом в Оренбург, где надеялись, продав свои деревенские избытки хотя недорогой ценою, взять из Илецкой Защиты каменной соли, которую иногда удается сбывать весьма выгодно на соседних базарах, если по распутице мало бывает подвозу. Они выезжали на большую Оренбургскую дорогу, перебивая поперек так называемый *Общий Сырт*, плоское возвышение, которое тянется к Яику, нынешнему Уральску, и по которому лежит известная яйцкая казачья дорога. Хотя опытный старик приметил грозу заблаговременно, но переезд был длинен, лошади тощи, на кормежке обоз позамешкался, и беда пришла неминуемая...

Быстро поднималось и росло белое облако с востока, и когда скрылись за горой последние бледные лучи закатившегося солнца — уже огромная снеговая туча заволочла большую половину неба и посыпала из себя мелкий снежный прах; уже закипели степи снегов; уже в обыкновенном шуме ветра слышался иногда как будто отдаленный плач младенца, а иногда вой голодного волка. «Поздно, ребята! — закричал старик. — Стой! нечего гнать и мучить понапрасну лошадей. Поедем шагом. Если не собьемся с дороги, авось бог помилует. Петрович, — сказал он, оборотясь к высокому плотному мужику, также немолодому, — поезжай сзади; твой гнедко хоть не боек, зато нестомчив, не отстанет, да и ты не задремлешь. Гляди в оба, чтобы кто не отстал да в сторону по дровяной или сенной дороге не отбился, а я поеду передовым!» С большим трудом перетаскивали стариков воз вперед, а лошадь Петровича, столкнув с дороги в сторону, объехали, потом вытащили ее из сугроба, и Петрович стал задним. Старик снял рысий малахай, вымененный у башкирского кантонного старшины на жирную молодую лошадь, в осеннюю гололедицу переломившую ногу, помолился богу и, сев на воз: «ну, серко! — сказал хотя невеселым, но твердым голосом, — выручал ты меня не один раз, послужи и теперь, не сшибись с дороги...» — и обоз поехал шагом.

Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт и последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь... наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес... Все одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху

и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, останавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной природы. Человек теряет память, присутствие духа, безумеет... и вот причина гибели многих несчастных жертв.

Долго тащился наш обоз с своими двадцатипудовыми возами. Дорогу знамало, лошади беспрепятственно оступались. Люди по большей части шли пешком, увязали по колено в снегу; наконец, все выбились из сил; многие лошади пристали. Старик видел это, и хотя его серко, которому было всех труднее, ибо он первый прокладывал след, еще бодро вытаскивал ноги — старик остановил обоз. «Други, — сказал он, скликнув к себе всех мужиков, — делать нечего. Надо отдаться на волю божью; надо здесь ночевать. Составим возы и распряженных лошадей вместе, кружком. Оглобли свяжем и поднимем вверх, оболочем их кошмами, сядем под ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету божьего и добрых людей. Авось не все замерзнем!»

Совет был странен и страшен; но в нем заключалось единственное средство к спасенью. По несчастью, в обозе были люди молодые, неопытные. Один из них, у которого лошадь менее других пристала, не захотел послушаться старика. «Полно, дедушка! — сказал он. — Серко-то у тебя стал, так и нам околевать с тобой? ты уже пожил на белом свету, тебе все равно; а нам еще пожить хочется. До умета верст семь, больше не будет. Поедем, ребята! Пусть дедушка останется с теми, у кого лошади совсем стали. Завтра, бог даст, будем живы, воротимся сюда и откопаем их». Напрасно говорил старик, напрасно доказывал, что серко истомился менее других; напрасно поддерживал его Петрович и еще двое из мужиков: шестеро остальных на двенадцати подводах пустились далее.

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми... Наконец, стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и тогда еще продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевой. Прошла еще ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего... Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах. Тронулись переждавшие буран обозы и всякие проезжие.

По самой этой дороге возвращался обоз порожняком из Оренбурга. Вдруг передний наехал на концы оглобель, торчащих из снега, около которых намело снеговой шиш, похожий на стог сена или на копну хлеба. Мужики стали разглядывать и приметили, что легкий пар повевал из снега около оглобель. Они смекнули делом; принялись отрывать чем ни попало и отрыли старика, Петровича и двоих их товарищей: все они находились в сонном, беспомытном состоянии, подобном состоянию сурков, спящих зиму в норах своих. Снег около них обтаял, и у них было тепло в сравнении с воздушной температурой. Их вытащили, положили в сани и воротились в умет, который точно был недалеко. Свежий, морозный воздух разбудил их; они стали двигаться, раскрыли глаза, но все еще были без памяти, как бы одурелые, без всякого сознания. В умете, не внося в теплую избу, растерли их снегом, дали выпить вина и потом уложили спать на полати. Проспавшись настоящим сном, они пришли в чувство и остались живы и здоровы.

Шестеро смельчаков, или, лучше сказать, глупцов, послушавшихся молодого удалца, вероятно, скоро сбились с дороги, по обыкновению принялись ее отыскивать, пробуя ногами, не попадется ли в мягком снегу жесткая полоса, разбрелись в разные стороны, выбились из сил — и все замерзли. Весною отыскивали тела несчастных в разнообразных положениях. Один из них сидел, прислонясь к забору того самого умета...

*Илецк.*⁴

ОТРЫВОК ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

Я познакомил вас с наружностью моего дедушки и отчасти с необыкновенной его вспыльчивостью, доходящею иногда до слепого бешенства. Я видел его таким в моем детстве, и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти... Как теперь гляжу на него!.. В своем месте я расскажу некоторые из этих явлений. — Мой отец совершенно не походил на своего отца и лицом и свойствами: это был человек тихого и спокойного нрава, самых мирных наклонностей, в молодости отличавшийся девичьею красотою и смиреньем. Дедушке не нравились такие достоинства, и он говаривал иногда: «Эх, Тимофей не по мне! Весь в Неклюдовщину!» Из нас, троих его внуков, также никто не походил на дедушку, особенно наружностью. Мою вспыльчивость и живость я наследовал прямо от своей матери... Но кровь, порода берут свое и проявляются, иногда через долгое время, с поразительной очевидностью. Я нередко слышал от настоящих русских людей, то есть от крестьян, что «такой-то парень укинулся в дедушку или прадедушку: весь, как вылитый, в него, и обличьем и обычаем». Эти чудно-меткие слова казались мне вздором. Судьбе угодно было, чтобы верный и глубокий смысл народного замечания и выражения осуществился в одном из моих сыновей. Сын мой Григорий, родившийся 4 января 1820 года, в воскресенье, ровно в полдень, в селе Знаменском, Аксаково тож, скоро стал напоминать мне голубыми глазами и шириной склада моего дедушку, а своего прадедушку, Степана Михайловича. Впоследствии это сходство увеличилось и было признано всеми родными. В 1821 году осьмимесячного Гришу повезли мы с собою в Москву, где прожили ровно год. Гриша был такой прелестный младенец, что никто не мог видеть его и не приласкать: полный, круглый, розовый, атласный, с большими светлыми, веселыми голубыми глазами. Это были любовь и утеха всего дома и всех знакомых. Вспыльчивость начала оказываться в нем, когда он был еще грудным ребенком; если кормилица не скоро давала ему грудь, которую он требовал всегда живыми и выразительными движениями, то вся кровь бросалась ему в лицо, из розового он делался красным, и светлые глазки его темнели и мутились. В двухлетнем дитяти, необыкновенно добром и веселом, развивавшаяся постепенно вспыльчивость сделалась так забавною и смешною, что я даже сам, более других убежденный в вредных последствиях такой забавы, не мог иногда утерпеть и не подразнить Гришу. Гнев его обнаруживался уже не одной краской в лице и потемнением веселых глазок, но и градом ударов детского, впрочем необыкновенно большого и сильного кулачка. Вспышка, мгновенно налетающая, — мгновенно и улетала: в ту же минуту Гриша уже обнимал, плакал и целовал того, кого колотил. Сколько раз я сам, неразумный отец, дразнил его!

Была у меня огромная легавая собака Гранжер, ни шагу от меня не отходившая (я был страстный охотник стрелять); все дети привыкли играть с ней, и умное животное позволяло тормошить себя маленьким шалунам и шалуньям. Однажды двухлетнему с небольшим Грише захотелось сесть на Гранжера верхом, и он просил меня посадить его и подержать; сначала я так и сделал; но как пропустить случай подразнить Гришу и посмеяться над страхом дитяти?.. Я посадил его на спину Гранжера, заставил ухватиться ручонками за толстую шею смиренной собаки и сам отбежал проворно в сторону. Гриша ужасно перепугался: принялся

кричать на весь двор, умоляя нежнейшими эпитетами, чтоб я его снял; но я безжалостно хохотал и вдобавок позвал к себе Гранжера, до тех пор стоявшего неподвижно: собака повиновалась, вопли Гриши усилились, он начинал терять равновесие, покачулся и полетел вверх ногами на траву... Не успел я опомниться, как Гриша молотил уже меня кулаками, продолжая реветь громче прежнего. Вместо того, чтоб взять за правило: не дразнить ребенка, способного придумать в такое исступление, — это сделалось любимой забавой. Вина непростительная! Непрерывный ряд таких увеселительных сцен продолжался почти до шестилетнего возраста бедного Гриши. Изобретательность в содержании их была неистощима! Одним из самых употребительных был следующий фарс: коверкая лицо и язык на немецкий лад, в чем я был большой искусник, я прикидывался немцем и весьма серьезно и долго уверял, что я колонист из Сарепты, когда мы жили еще в деревне, или булочник Дромер, когда мы уже переехали на житье в Москву. Ребенок, озадаченный таким превращением, обыкновенно начинал смехом и словами: «Нет, вы не немец, вы отесинька». Неутомимое продолжение фарса доводило его до слез, и, наконец, он выходил из себя. Последняя проделка в этом роде, когда Грише было уже около шести лет, наконец, вразумила меня. Гриша, выведенный из терпения моими убедительными доказательствами, что я немец Дромер, дал мне полновесную пощечину, примолвя: «а когда вы не отесинька, то как смеете лежать на его постели?» Туман слетел с моих глаз, и хотя я хорошо понимал, что Степан Михайлович 1780-х годов невозможен в 1840-х, что пылкость души, проникнутой образованием и семейной любовью, есть живописный источник всего прекрасного, благородного и высокого, но испугался, однако, за последствия, которым может подвергнуть молодого человека такая горячность. Кончилась забава, перестали дразнить Гришу и свои и чужие, отдохнуло мое бедное дитя. Разумеется, природная вспыльчивость оставалась, но, не раздражаемая более, уже не проявлялась в прежних безумных выходках. Так шли дела, пока наступило время отдать Гришу в Училище правоведения, только что открытое в Петербурге. Я всегда не любил этот не русский город, весь состоящий из казарм и присутственных мест, из солдат и чиновников; еще более не любил его воспитательные и учебные заведения; но необходимость доставить сыновьям практическое, служебное направление и выгодную дорогу по службе — решила меня на эту жертву. Дети мои были связаны такими крепкими узами семейной любви, что я не боялся вредного впечатления, систематически губительного петербургского воспитания; к тому же сыновья мои вступали в учебное заведение по пятнадцатому году, а Гриша вступил даже по шестнадцатому. В 1863 году я отвез его в Петербург, и он вошел прямо в четвертый класс, тогда старший. Только при расставанье узнал я всю силу Гришиной любви ко мне и семейству, которого я был тогда единственным представителем. Никогда не забуду я его глаз, устремленных на меня с любовью и тоскою наступающей разлуки...

Прощаясь, он дал мне слово: в первую минуту вспыльчивости — вспомнить об отце и матери.

Он сдержал свое слово: через несколько месяцев один из коротких моих приятелей (А. Ф. Томашевский) привез мне секретное письмо от Гриши и отдал потихоньку от матери, которая не знала об этом письме до выхода Гриши из училища. Письмо сохраняется у меня и теперь. Опасаясь, чтоб слухи или известие директора не встревожили нас, Гриша описал мне весьма подробно слу-

чившееся с ним происшествие. Оно состояло в следующем. Старший класс гулял в своем саду; к одному из воспитанников приехали мать и сестры, которые показались некоторым почему-то весьма забавными, и молодые люди позволили себе посмеяться над дамами неприличным образом. Гриша был также в саду и ходил, обнявшись с двумя товарищами. Все трое не только не участвовали в дерзости воспитанников, но, напротив, старались их удержать. Когда история дошла до директора, человека ничтожного, пустого, то разумный педагог наказал весь класс, кроме Гриши.

Благородная душа моего сына не вытерпела. Он явился к директору и сказал: «Ваше превосходительство приказали наказать весь старший класс, даже и тех двоих моих товарищей, с которыми я вместе ходил и которые, точно так же, как я, не участвовали ни в чем; а потому я прошу, прикажите также наказать и меня».

Вместо того, чтобы как-нибудь поправить свою ошибку или по крайней мере, оценив такой благородный порыв, сказать молодому человеку, что не его дело вмешиваться в распоряжение начальства и прочая и прочая... г. директор, уязвленный в душе благородным чувством и словами моего Гриши, изволил прогневаться, назвал его бунтовщиком, вольнодумцем и погрозил телесным наказанием и солдатством на Кавказе...

Вся кровь прихлынула к сердцу и голове моего сына; в глазах у него потемнело, он уже терял сознание и власть над собою, и бог один знает, что бы он сказал и сделал, если б мгновенно не озарила его мысль об отце и матери. Гриша удержался, но весь пыл его оскорбленного сердца выразился в его взгляде!.. Таков был этот взгляд, что трусишка директор не вынес его более секунды и убежал, вскрикнув: «Ах, он сумасшедший!»

Гришу велели отвезти в больницу, раздели и посадили в пустую комнату под арест. Он повиновался беспрекословно; заставили просить прощенье (бог знает в чем) у директора — он все исполнил. Мысль об отце и матери уже ни на минуту его не оставляла. Но, боже, чего стоило ему переломить себя и усмирить свое оскорбленное сердце!.. Только сыновняя любовь могла произвести такое чудо. Впоследствии, работая беспрестанно над собою, Гриша совершенно овладел своим характером... О, сильна и благонадежна любовь такого сердца! Глубокое чувство, безграничная преданность, полное самоотвержение и неизменное постоянство лежит в основании этой пылкой души.